## Баллада

Автор: *Бунин И.А.*

Баллада

Под большие зимние праздники был всегда, как баня, натоплен деревенский дом и являл картину странную, ибо состояла она из просторных и низких комнат, двери которых все были раскрыты напролет, - от прихожей до диванной, находившейся в самом конце дома, - и блистала в красных углах восковыми свечами и лампадами перед иконами.

Под эти праздники в доме всюду мыли гладкие дубовые полы, от топки скоро сохнувшие, а потом застилали их чистыми попонами, в наилучшем порядке расставляли по своим местам сдвинутые на время работы мебели, а в углах, перед золочеными и серебряными окладами икон, зажигали лампады и свечи, все же прочие огни тушили. К этому часу уже темно синела зимняя ночь за окнами и все расходились по своим спальным горницам. В доме водворялась тогда полная тишина, благоговейный и как бы ждущий чего-то покой, как нельзя более подобающий ночному священному виду икон, озаренных скорбно и умилительно.

Зимой гостила иногда в усадьбе странница Машенька, седенькая, сухенькая и дробная, как девочка. И вот только она одна во всем доме не спала в такие ночи: придя после ужина из людской в прихожую и сняв с своих маленьких ног в шерстяных чулках валенки, она бесшумно обходила по мягким попонам все эти жаркие, таинственно освещенные комнаты, всюду становилась на колени, крестилась, кланялась перед иконами, а там опять шла в прихожую, садилась на черный ларь, спокон веку стоявший в ней, и вполголоса читала молитвы, псалмы или же просто говорила сама с собой. Так и узнал я однажды про этого "божьего зверя, господня волка": услыхал, как молилась ему Машенька.

Мне не спалось, я вышел поздней ночью в зал, чтобы пройти в диванную и взять там что-нибудь почитать из книжных шкапов. Машенька не слыхала меня. Она что-то говорила, сидя в темной прихожей. Я приостановясь, прислушался. Она наизусть читала псалмы.

- Услышь, господи, молитву мою и внемли воплю моему, - говорила она без всякого выражения. - Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец на земле, как и все отцы мои...

Скажите богу: как страшен ты в делах твоих!

Живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится... На аспида и василиска наступишь, попрешь льва и дракона...

На последних словах она тихо, но твердо повысила голос, произнесла их убежденно: попрешь льва и дракона. Потом помолчала и, медленно вздохнув, сказала так, точно разговаривала с кем-то:

- Ибо его все звери в лесу и скот на тысяче гор...

Я заглянул в прихожую: она сидела на ларе, ровно спустив с него маленькие ноги в шерстяных чулках и крестом держа руки на груди. Она смотрела перед собой, не видя меня. Потом подняла глаза к потолку и раздельно промолвила:

- И ты, божий зверь, господень волк, моли за нас царицу небесную.

Я подошел и негромко сказал:

- Машенька, не бойся, это я.

Она уронила руки, встала, низко поклонилась:

- Здравствуйте, сударь. Нет-с, я не боюсь. Чего ж мне бояться теперь? Это в младости глупа была, всего боялась. Темнозрачний бес смущал.

- Сядь, пожалуйста, - сказал я.

- Никак нет, - ответила она. - Я постою-с.

Я положил руку на ее костлявое плечико с большой ключицей, заставил ее сесть и сел с ней рядом.

- Сиди, а то я уйду. Скажи, кому это ты молилась? Разве есть такой святой - господний волк?

Она опять хотела встать. Я опять удержал ее:

- Ах какая ты! А еще говоришь, что не боишься ничего! Я тебя спрашиваю: правда, что есть такой святой?

Она подумала. Потом серьезно ответила:

- Стало быть, есть, сударь. Есть же зверь Тигр-Ефрат. Раз в церкви написан, стало быть, есть. Я сама его видела-с.

- Как видела? Где? Когда?

- Давно, сударь, в незапамятный срок. А где - и сказать не умею: помню одно - мы туда трое суток ехали. Было там село Крутые Горы. Я и сама дальняя, - может, изволили слышать: рязанская, - а тот край еще ниже будет, в Задонщине, и уж какая там местность грубая, тому и слова не найдешь. Там-то и была заглазная деревня наших князей, ихнего дедушки любимая., - целая, может, тысяча глиняных изб по голым буграм-косогорам, а на самой высокой горе, на венце ее, над рекой Каменной, господский дом, тоже голый весь, трехъярусный, и церковь желтая, колонная, а в той церкви этот самый божий волк: посередь, стало быть, плита чугунная над могилой князя, им зарезанного, а на правом столпе - он сам, этот волк, во весь свой рост и склад написанный: сидит в серой шубе на густом хвосту и весь тянется вверх, упирается передними лапами в земь - так и зарит в глаза: ожерелок седой, остистый, толстый, голова большая, остроухая, клыками оскаленная, глаза ярые, кровавые, округ же головы золотое сияние, как у святых и угодников. Страшно даже вспомнить такое диво дивное! До того живой сидит глядит, будто вот-вот на тебя кинется! - Постой, Машенька, - сказал я, - я ничего не понимаю, зачем же и кто этого страшного волка в церкви написал? Говоришь - он зарезал князя: так почему ж он святой и зачем ему быть надо княжеской могилой? И как ты попала туда, в это ужасное село? Расскажи все толком. И Машенька стала рассказывать: - Попала я, сударь, туда по той причине, что была тогда крепостной девушкой, при доме наших князей прислуживала. Была я сирота, родитель мой, баяли, какой-то прохожий был, - беглый, скорее всего, - незаконно обольстил мою матушку, да и скрылся бог весть куда, а матушка, родивши меня, вскорости скончалась. Ну и пожалели меня господа, взяли с дворни в дом, как только сравнялось мне тринадцать лет и приставили на побегушки к молодой барыне, и я так чем-то полюбилась ей, что она меня ни на час не отпускала от своей милости. Вот она-то и взяла меня с собой в войяж, как задумал молодой князь съездить с ней в свое дедовское наследие, в эту самую заглазную деревню, в Крутые Горы. Была та вотчина в давнем запустении, в безлюдии, - так и стоял дом забитый, заброшенный с самой смерти дедушки, - ну и захотели наши молодые господа проведать ее. А какой страшной смертью помер дедушка, о том всем нам было ведомо по преданию. В зале что-то слегка треснуло и потом упало, чуть стукнуло. Машенька скинула ноги с ларя и побежала в зал: там уже пахло гарью от упавшей свечи. Она замяла еще чадивший свечной фитиль, затоптала затлевший ворс попоны и, вскочив на стул, опять зажгла свечу от прочих горевших свечей, воткнутых в серебряные лунки под иконой, и приладила ее в ту, из которой она выпала: перевернула ярким пламенем вниз, покапала в лунку потекшим, как горячий мед, воском, потом вставила, ловко сняла тонкими пальцами нагар с других свечей и опять соскочила на пол. - Ишь как весело затеплилось, - сказала она, крестясь и глядя на ожившее золото свечных огоньков. - И какой дух-то церковный пошел! Пахло сладким чадом, огоньки трепетали, лик образа древне глядел из-за них в пустом кружке серебряного оклада. В верхние, чистые стекла окон, густо обмерзших снизу серым инеем, чернела ночь и близко белели отягощенные снежными пластами лапы ветвей в палисаднике. Машенька посмотрела на них, еще раз перекрестилась и вошла опять в прихожую. - Почивать вам пора, сударь, - сказала она, садясь на ларь и сдерживая зевоту, прикрывая рот своей сухой ручкой. - Ночь-то уж грозная стала. - Почему грозная? - А потому, что потаенная, когда лишь алектор, петух, по-нашему, да еще нощной вран, сова, может не спать. Тут сам господь землю слушает, самые главные звезды начинают играть, проруби мерзнут по морям и рекам. - А что ж ты сама не спишь по ночам? - И я, сударь, сколько надобно сплю. Старому человеку много ли сна полагается? Как птице на ветке. - Ну, ложись, только доскажи мне про этого волка. - Да ведь это дело темное, давнее, сударь, - может, баллада одна. - Как ты сказала? - Баллада, сударь. Так-то все наши господа говорили, любили эти баллады читать. Я, бывало, слушаю - мороз по голове идет: Воет сыр-бор за горою, Метет в белом поле, Стала вьюга-непогода, Запала дорога... До чего хорошо, господи! - Чем хорошо, Машенька? - Тем и хорошо-с, что сам не знаешь чем. Жутко. - В старину, Машенька, все жутко было. - Как сказать, сударь? Может, и правда, что жутко, да теперь-то все мило кажется. Ведь когда это было? Уж так-то давно, - все царства-государства прошли, все дубы от древности рассыпались, все могилки сровнялись с землей. Вот и это дело, - на дворне его слово в слово сказывали, а правда ли? Дело это будто еще при великой царице было и будто оттого князь в Крутых Горах сидел, что она на него за что-то разгневалась, заточила его вдаль от себя, и он очень лют сделался - пуще всего на казнь рабов своих и на любовный блуд. Очень еще в силе был, а касательно наружности отлично красив и будто бы не было ни на дворне у него, ни по деревням его ни одной девушки, какую бы он к себе, в свою сераль, на первую ночь не требовал. Ну вот и впал он в самый страшный грех: польстился даже на новобрачную сына своего родного. Тот в Петербурге в царской военной службе был, а когда нашел себе суженую, получил от родителя разрешение на брак и женился, то, стало быть, приехал с новобрачной к нему на поклон, в эти самые Крутые Горы. А он и прельстись на нее. Про любовь, сударь, недаром поется: Жар любви во всяком царстве, Любится земной весь круг... И какой же может быть грех, если хоть и старый человек мышлит о любимой, вздыхает о ней? Да ведь тут-то дело совсем иное было, тут вроде как родная дочь была, а он на блуд простирал алчные свои намерения. - Ну и что же? - А то, сударь, что, заметивши такой родительский умысел, решил молодой князь тайком бежать. Подговорил конюхов, задарил их всячески, приказал к полночи запрячь тройку порезвей, вышел, крадучись, как только заснул старый князь, из родного дома, вывел молодую жену - и был таков. Только старый князь и не думал спать: он еще с вечера все узнал от своих наушников и немедля в погоню пошел. Ночь, мороз несказанный, аж кольцо округ месяца лежит, снегов в степи выше роста человеческого, а ему все нипочем: летит, весь увешанный саблями и пистолетами, верхом на коне, рядом со своим любимым доезжачим, и уж видит впереди тройку с сыном. Кричит, как орел: стой, стрелять буду! А там не слушают, гонят тройку во весь дух и пыл. Стал тогда старый князь стрелять в лошадей и убил на скаку сперва одну пристяжную, правую, потом другую, левую, и уж хотел коренника свалить, да глянул вбок и видит: несется на него по снегам, под месяцем, великий, небывалый волк, с глазами, как огонь, красными и с сияньем округ головы! Князь давай палить и в него, а он даже глазом не моргнул: вихрем нанесся на князя, прянул к нему на грудь - и в единый миг пересек ему кадык клыком. - Ах, какие страсти, Машенька, - сказал я. - Истинно баллада! - Грех, не смейтесь, сударь, - ответила она. - У бога всего много. - Не спорю, Машенька. Только странно все-таки, что написали этого волка как раз возле могилы князя, зарезанного им. - Его написали, сударь, по собственному желанию князя: его домой еще живого привезли, и он успел перед смертью покаяться и причастье принять, а в последний свой миг приказал написать того волка в церкви над своей могилой: в назидание, стало быть, всему потомству княжескому. Кто ж его мог по тем временам ослушаться? Да и церковь-то была его домашняя, им самим строенная.